

Алла Сигалова...
Счастье мое!

АСТ

Алла Михайловна Сигалова

Счастье моё!

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31210606
Счастье моё! /Алла Сигалова: АСТ; Москва;
ISBN 978-5-17-112055-9

Аннотация

Известный хореограф Алла Сигалова написала не обычную автобиографию, не обычные мемуары. “Счастье моё!” – это честная история о людях, бывших рядом и оставшихся в памяти и сердце: о Романе Козаке, Сергее Вихареве, Алексее Овечкине, Олеге Ефремове, Михаиле Барышникове. Это тонкая психологическая проза, сплетенная из парадоксов: пройдя в юном возрасте через боль и разочарование, Алла смогла начать всё заново; в непростые девяностые продолжала заниматься искусством, организовав “Независимую труппу Аллы Сигаловой”; после стольких утрат не потеряла надежду и веру. Она не рассказывает о себе, но пытается себя понять, не пишет о своей жизни, а снова проживает ее. Репетиции, спектакли, гастроли, танец, музыка, любовь. Может, всё это и есть счастье?

Содержание

Ленинград. Лисий Нос	17
Улица Росси	22
Михайловы	26
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Алла Сигалова

Счастье моё!

В книге использованы фотографии из личного архива Аллы Сигаловой

Издательство АСТ благодарит наследников Виктора Ахломова, Наталью Разину, Михаила Рыжова, телеканал “Россия – Культура”, журналы *Hello! OK!* и “Красота & Здоровье” за любезно предоставленные фотографии

Текст публикуется в авторской редакции

* * *

Я опять не сплю. Я опять смотрю сквозь липкую темноту на дверь своей комнаты... кажется, еще секунда – и ты появишься, чуть ее приоткрыв, как всегда тревожась меня побеспокоить и как всегда удивляя меня своей внимательностью и чуткостью... Я смотрю и смотрю на дверь... сейчас это стало частью моей жизни, частью моих ночей.

Я опять не сплю. Я опять напряженно всматриваюсь в темноту, я смотрю на дверь...

Я вхожу в квартиру, и ты всегда встречаешь меня, что

бы ты ни делал, каким бы серьезным делом ни был занят, услышав мягкий хлопок остановившегося на нашем этаже лифта, ты стремительно спешишь к входной двери, чтоб меня обнять, помочь снять пальто, плащ, шубу... Также, уходя из дома, я знала, что ты оставишь все дела и выйдешь в прихожую меня проводить. Этот порядок, эту традицию ввел в нашу жизнь ты, так было все семнадцать лет, и иначе быть не могло. Даже тогда, когда каждое движение причиняло тебе нестерпимую боль и подняться с кровати стоило немислимых усилий, ты это делал, делал именно в этих двух случаях: ты всегда меня встречал и всегда меня провожал.

Лифт останавливается на нашем этаже, я подхожу к двери, достаю ключ, открываю дверь... тишина, я захожу в наш пустой дом.

Мы часто разъезжались в разные города, в разные страны, мы редко ездили провожать друг друга в аэропорт или на вокзал, но ты всегда брал мой чемодан и провожал меня к машине.

Последний раз ты с трудом поднял мой маленький чемоданчик, на все уговоры, что тебе не надо, что мне не тяжело... ты устало улыбался и качал головой. Тогда, в начале мая, я уезжала на несколько дней в Ригу, и ты в последний раз погрузил мой чемоданчик в такси и помахал обтянутой сухой кожей ладонью. Ты повернулся к подъезду, я увидела

твою сгорбленную узенькую спину, и у меня сжалось сердце, комок распял горло.

Новый год мы встречали в Италии, в старинном городе Модена. Я там работала, и вся семья приехала ко мне на праздники. Была разработана программа путешествий в ближайшие к Модене города: Верона, Флоренция, Падуя, Болонья, Венеция, Мантуя... Утром вы уезжали, а я шла на репетицию. Возвращались вы совсем поздно, дети были возбужденные, радостные... ты приезжал уставшим, валился на диван и, чуть передохнув, начинал рассказывать о своих впечатлениях, и, скинув сделанные фотографии с фотоаппарата в компьютер, мы все, сгрудившись у экрана, рассматривали их с комментариями, которые вы делали, перебывая друг друга.

В новогоднюю ночь ты остался лежать на диване в отеле, и на старую ратушиную площадь мы пошли без тебя. Новый год по московскому времени мы уже встретили, ты весь вечер пытался наладить русский ТВ-канал в интернете, чтоб не пропустить бой курантов.

За две недели вашего пребывания в Модене у меня было два выходных. В первый свободный день мы решили никуда не ехать, а погулять по городу. Во второй выходной мы все вместе поехали в Болонью. Запораживающей красоты город. Мы гуляли целый день, заходя в ресторанчики, музеи, магазины. Это был один из тех зимних дней, когда нет про-

низывающего ветра, всё тихо, сыплет густой рваный снег, глухо, спокойно и сумеречно, словно кто-то выключил звук и притушил свет. Нам было хорошо, и казалось, таких путешествий, таких тихих снежных дней в нашей жизни будет много-много... Мы купили красивые подарки друг другу и уехали из Болоньи, когда было уже совсем темно.

Это было наше последнее путешествие, это был наш последний Новый год, это была наша последняя зима.

Ты всегда удивлялся: как может быть, что при таком обильном поглощении книг я умудряюсь так безграмотно писать, удивлялся мягко, с восхищенно-покровительственной улыбкой. Я всегда стеснялась этого, писать письма я избегала, а в компьютере ты мне сразу поставил программу автоматического исправления орфографических ошибок. Но я никогда не стеснялась задавать тебе вопросы: а как пишется?.. а что значит?.. а что такое?.. Ты всегда погружался в ответ и делал это подробно и легко, как может отвечать на самые глупые вопросы маленького ребенка нежнейше любящий отец. Мой папа умер, когда мне было двадцать семь, с мамой они разошлись, когда мне было шесть... Видела я его редко, обожала безмерно. Моя "взрослая" жизнь, жизнь без родителей, началась с десяти лет, когда я уехала в Ленинград, поступив в хореографическое училище, и хоть в Ленинграде были родственники – не было папы и мамы! Это отсутствие родителей в период, когда они нужны до боли, до бессонных ночей, до слез в подушку,

наложило отпечаток и на мой характер, и, следовательно, на всю мою жизнь: отсюда замкнутость, болезненная застенчивость, жесткость.

С тобой я могла позволить себе быть балованным, обожаемым ребенком – иногда непоседливым, иногда глупым, иногда невоспитанным, иногда капризным, но, я знала, всегда, всегда нежнейшие любимым.

Ты мне разъяснял всё: от политических новостей до неизвестных мне терминов, ты учил меня пользоваться телефоном и компьютером, помогал приноравливаться к техническим новинкам, ты мне, словно несмышленому ребенку, объяснял, как не заблудиться в незнакомом аэропорту, как доехать до необходимой улицы в незнакомом городе и еще много-много разъяснений и объяснений, которые я могла получить только от тебя, и всё просто, легко, распахнуто.

Твой маленький чемоданчик появился в прихожей моей квартиры неожиданно: я пришла с репетиции и, открыв дверь, наткнулась на него – это было фактическим подтверждением твоего решения жить вместе. И с твоим чемоданчиком в доме поселился твой теплый, низкий голос и твой смех. Я не встречала никогда другого человека, который мог так смеяться, как ты: открыто, заразительно, ярко, во весь объем могучих легких, во весь объем своего большого тела. Раздавался звонок телефона, ты брал труб-

ку, звонил кто-то из твоих друзей или просто кто-то... и дом заполнялся баритональными переливами твоего голоса и взрывами покровительственно-ласкового смеха. Я обожала этот смех. Наверно, именно во всплесках этого смеха и были мгновенные, пронзительные ощущения счастья.

Наш дом был закрытым домом, редко мы приглашали друзей, мы, словно не сговариваясь, берегли его тишину. Пока рос Мишка и выросла Аня, конечно же, дом заполнялся их жизнью. Когда в доме маленький человек, всё дышит его беганьем, плачем, прыганьем, песенками, играми... Дети выросли, и дом становился тише. Каждый погружался в свои компьютеры – тогда дом совсем затихал, на время. Самые громкие эпизоды нашей жизни проходили в моменты, когда Мишуня просил тебя объяснить не поддающуюся решению задачу по математике. Всё начиналось с мирного, сдержанного тона – ты прекрасно всё объяснял, терпеливо, ласково, долго, неоднократно повторяя варианты решения, но приходил момент – и ты взрывался. Мишуня начинал мелко моргать ресницами, сдерживая слезы, я, собрав себя в комок, вышагивала в соседней комнате, всеми силами сдерживая желание вмешаться и остановить “уроки знаний”. Затихало всё довольно быстро, но память этого звука еще несколько часов растекалась по комнатам, разрушая привычное спокойствие и радостную, драгоценную тишину.

Юрмала... В первый раз вместе мы приехали сюда со спектаклем "Банан" по Славомиру Мрожеку, во время постановки которого, 30 декабря утром, по дороге в Дом культуры им. Зуева, где проходили репетиции, мы заехали в ЗАГС на 3-й Тверской-Ямской, и на репетицию, захватив несколько бутылок шампанского, приехали уже мужем и женой. Этот спектакль был спродюсирован Валею Панфиловой, с которой нас связывали теплые, дружеские отношения и которую ты всегда с ироничной ласковостью называл "фейей". Компания в этой работе сложилась замечательная: Леночка Шанина, Лариса Кузнецова, Валера Гаркалин, Максим Суханов, Саша Балужев и художник Паша Каплевич. Наши рижские гастроли проходили в Рижском русском театре. Был май. В Юрмале, где нас поселили, было солнечно, гудел пронзительный балтийский ветер, мы радовались и солнцу, и ветру, и белой полосе песчаного пляжа, и нашим веселым талантливым товарищам, вкусной еде, и аплодисментам зрителей, и сладостному, весеннему ощущению широкого дыхания. Эти гастроли и стали началом нашей влюбленности в этот город, в эти сосны, в этот воздух... Потом были спектакли, которые мы здесь делали, некоторые вместе, некоторые отдельно... Здесь каждое лето мы жили и работали, здесь выросли наши дети, здесь мы обросли друзьями и радостями.

Нашу квартиру в Юрмале я благоустроивала с особым рвением – это было исполнением нашей мечты. Мы здесь

прожили вместе только одно лето... Потом эта квартира стала пунктом передышки на пути между Германией и Москвой, между клиникой в Висбадене и домом. Ты любил быть здесь, ты погружался в юрмальскую неторопливость, и здесь казалось, что мы скрыты от суеты, волнений, боли, забот, лекарств, врачей, капельниц, от всего, что было связано с двумя точками земли, между которыми теперь проходила наша жизнь, и в середине этой линии была Юрмала, юрмальский песок, юрмальский ветер. В свой последний май ты каждый день говорил о Юрмале, что ты вот чуть-чуть окрепнешь – и мы уедем туда на всё лето...

Последний май.

Мы не говорили про болезнь, делали вид, что ее нет в нашем доме, жили “как всегда”, будто лечение – просто деловая часть нашей жизни, нашего обычного расписания. Шли репетиции “Доходного места” Островского. Мы строили планы на будущее. Страшное отодвигали. Отгоняли. Боролись.

План у меня такой. Сейчас сыграем Островского, потом, если всё сложится, я буду делать новую пьесу Петрушевской. Абсолютно оглушительная история на четырех женщин, две матери и две дочери – называется “Танго «Квадрат»”. Я такого давно не читал и очень горд, что она дала пьесу мне, ведь за ней охотятся многие! Это будет в филиале. А на большой сцене попробую сделать “Книгу о вкусной и здоровой пище”.

Понимаете, всё это изобилие вранья об изобилии так сопрягается со временем, в которое мы живем. Вроде бы странно: пятидесятые годы, вторая волна репрессий – и вдруг эти феноменальные статьи о засолке помидоров, об ананасах и кавказских винах. Да сама вступительная статья, которую написал Микоян, уже способна быть спектаклем! Мне видится такое путешествие по жанрам, почти цирковое действо.

Это слова из последнего твоего интервью Алле Шендеровой, опубликованного 25 мая 2010-го. За три дня до последнего твоего утра. Читая эти фразы, я поражаюсь твоей силе и жизнелюбию. Ты всё понимал, но до конца не подпускал ЕЕ, захлопывал перед ЕЕ носом дверь.

Мы не оставляли тебя одного, всегда кто-либо из родных был рядом, проводил день и ночь, так мы сменяли друг друга с твоей мамой – Александрой Абрамовной и с другими близкими. Это было утро, когда я должна была пойти на работу, а после ехать к тебе в подмосковный санаторий. Когда в восемь часов взорвался звонок, я сразу почувствовала, поняла всё... Ты лежал в спальне санаторного номера, сжимая в правой руке телефон. По многолетней традиции, просыпаясь, ты звонил мне, всегда. 28 мая 2010 года не успел. Телефон остался в сухой, крепко сжатой ладони.

Я не знаю, зачем я пишу эти строки. У меня нет потребности с кем-либо поделиться своими воспоминаниями о те-

бе. О тебе и о себе. Прожитые дни этих семнадцати лет останутся запертыми в моем сердце, в моем сознании, в моей памяти. Разве возможно рассказать о чередe дней, наполненных тревогами, надеждами, разочарованиями, восторгами, бессилием, счастьем, яростью, безысходностью, отчаянием, радостью, одиночеством...

У меня нет слез.

Я выкручиваю свою глотку, ввинчивая внутрь взрывающий меня крик.

С ухода Ромы сейчас, когда я пишу эти строки, прошло восемь лет. С грустным удивлением я наблюдаю, как многие, кто назывался его другом или учеником и клялся в памяти ему, забыли и об этих обещаниях, которые никто не вытягивал из них, и о дружбе, и о том, что многие из них получили возможность интересно работать, безбедно жить, строить свою карьеру просто потому, что когда-то попали в круг его дружеского участия, режиссерского становления, педагогического покровительства, профессиональной ответственности. Горько видеть, как актеры, начинавшие свой путь в его спектаклях, говоря об успехах этих спектаклей, гордо рассказывая о калейдоскопе их зарубежных гастролей, забывают, а может быть, намеренно пропускают фамилию режиссера, которому должны были бы ну если не быть благодарными, то хотя бы не подтасовывать факты. Другие, гордо постукивая кулачком в грудь, рассказыва-

ют о причастности, верности памяти и всё такое прочее, опуская не совсем порядочные поступки, совершенные в адрес Ромы и теперь благополучно стираемые ластиком. Да, я не прощаю и не прощу всех тех, кто в последние годы Роминой жизни, самые тяжёлые годы... доставлял ему боль тщеславными поступками, совершаемыми за его спиной. Я не забыла. Я помню каждый нюанс его телефонных разговоров с этими людьми, который он тяжело проживал и к которым бесконечно возвращался в общении со мной, ища им оправдания и пытаюсь найти доводы, чтоб реабилитировать преступившего. С этими людьми я прекратила общение, их желания объясниться не приняла и не принимаю. Забавно наблюдать, как многие пытаются перелицевать факты, создать легенды, не относящиеся к действительно происходившему. Да, время стирает многие, очень многие очертания, и сюжеты расплываются в стремительном беге лет... но я помню. Я не держу зла на тех, кто преступил, я бронированным крейсером проплываю мимо них, не замечая, не оборачиваясь... Но всё то, что мы прожили за последние годы Роминой жизни, хирургическим скальпелем врезано в мою память.

Почти восемь лет, прошедших после... За это время я не слышала от многих из тех, кто назывался друзьями, вопроса о необходимости помощи. Да, я понимаю, что произвожу впечатление преуспевающей в карьере, уверенной в себе и не терпящей никаких сентиментальностей женщины, но раз-

ве такая надобность в большей степени нужна мне, а не им, тем, которые в первые часы моего необратимого одиночества говорили, что будут рядом и придут на помощь при первой необходимости. Я полагаю, человек просит о помощи тех, в чьем чистосердечном желании помочь не сомневается, не сомневается в возможности ее получить без лишних вопросов, жалостливых утешений, долгих объяснений. Потому ценность тех, кто всё это время рядом, тех, кто хочет быть близким и участвовать в преодолении сложностей жизни, помогать, не ожидая просьбы о помощи, становится во сто крат значимее всех высокопарных слов, не подкрепленных действием.

Я очень ревнивый человек, я хочу и после Роминового ухода ни с кем его не делить и поселившись во мне боль тоже не делить и не делиться. Это моя боль, я никого к ней не подпускаю. Я абсолютно эгоистична в проживании ее.

В этой книге, в этой череде воспоминаний, не будет главы "РОМА", память о Ромочке не исчерпывается одной главой, и время не затянуло, не заглушило кричащую пустоту, мне трудно, почти невозможно говорить о нем, о нашей с ним жизни. Но я уверена, пройдет еще отрезок времени, какой величины – не знаю, и я обязательно заговорю. Я очень этого хочу. И это случится.

Когда мы рядом с родными каждый день, кажется, нет смысла рассказывать эпизоды своей жизни, нет смысла

рассказывать о своем пути, о родных, о друзьях, устные воспоминания нам кажутся делом сентиментальным, мы стесняемся этой сентиментальности, и впоследствии всегда с прискорбием понимаем, что не успели близкому человеку сказать самое важное, спросить необходимое, поделиться и главным, и совсем малозначимым. Но это понимание приходит потом, после... Жизнь стремительно движется, и нет времени оглянуться назад. Ромин уход послужил для меня мотивацией необходимости разбросать на листах мозаику своих воспоминаний, мозаику, не выстроенную в хронологический ритм прожитых лет, а рассыпанную взрывом картинок, отпечатанных памятью. Вспоминать – дело тяжелое, от него отодвигаешься, прячешься, жалея себя, но... я это делаю для моих детей, для близких, которым, возможно, будет важно прочитать эти страницы, я это делаю для себя, осознавая необходимость сказать слова любви и благодарности людям, оставившим во мне неизбывный отпечаток, необходимость рассказать о тех, кто формировал, был рядом, принес боль и радость. Этими воспоминаниями я делюсь с теми, кто сможет взять в руки эту книгу, и с теми, кто уже никогда не увидит ее, но, знаю, обязательно услышит меня там, где прорезана горькая черта между суетой и покоем.

Ленинград. Лисий Нос

Ленинград остается для меня самым родным и манящим городом, хоть большую часть жизни я живу в Москве. Ленинград полон эмоциональных воспоминаний – и потому, что многих людей, которые в них участвуют, уже нет на этом свете; и потому, что с городом связано детство; и всё, что происходит впервые в жизни человека, тоже связано с этим городом; и несбывшиеся заветные мечты тоже растворены в его гранитной неприступности. Мысленно я живу на распутии – из Ленинграда уехала, а в Москве так толком и не приземлилась. Память пронзает множеством вспыхивающих картинок...

Если мама не брала меня на летние гастроли своего театра, меня отправляли к двоюродной бабушке – в Лисий Нос, дачный поселок на берегу Финского залива под Ленинградом. Мама не очень часто сюда заезжала, но я под присмотром двух бабушек, родной, маминой мамы – Тани и двоюродной – Лизы, проводила тут свои импрессионные летние месяцы. У Лизы было полдома на улице Парковой, с террасой и прекрасным плодоносящим садом. Я не помню ни одной девочки-подружки, моей компанией были местные и приезжающие отдыхать мальчишки. Мама меня всегда одевала с шармом, сейчас я не могу вспомнить, откуда она до-

ставала эти заграничные платица и костюмчики, я всегда чувствовала свою особенную привлекательность, и красивая одежда только добавляла этой энергии очаровательности. Лето проходило в атмосфере переливающихся влюбленностей, невинных свиданий, записочек со стихами Лермонтова, соревнований за право прокатить меня на велосипеде, тайных забрасываний в мое окно цветов, слушаний пластинок “Поющих гитар”, Валерия Ободзинского, Майи Кристалинской, Эдиты Пьехи, купаний наперегонки в Финском заливе, собирания малины в ближайшем овраге, переглядываний, перешептываний...

Раз в неделю мы с бабушками ходили в баню, здание которой до сих пор сохранилось. Я не любила этот день, чувство нестерпимой брезгливости охватывало меня при виде алюминиевых тазиков, пенной воды, текущей по полу, женской многоскладчатой массы, рвотные позывы накатывали от женских волос, застрявших в водяных стоках и на банных скамьях. Но как же было хорошо, когда мы возвращались домой, я шла по улицам с мокрыми волосами, аккуратно подобранными платком, жар пульсировал по всему телу и раскрашивал щеки пунцовым цветом – можно было неделю, до следующего похода в баню, жить спокойно, без гадливых ощущений – целую неделю!

Лисий Нос тогда был заполнен плотно заросшими сосновыми рощами, малиновыми зарослями и кружевной архитектурой дореволюционных дачных усадеб в неоготическом

стиле. Сейчас облик этого места очень изменился, но я много лет спустя нашла свой “Лисий Нос” на юрмальском побережье, тут очень многое напоминает старый, неразрушенный дачный мирок ленинградского побережья Финского залива.

Гостиная комната на нашей даче была центром жизни. Здесь накрывался стол в праздничные дни, и главное – здесь стоял телевизор, вокруг которого протекали дачные вечера. Старинная купеческая мебель с потускневшим черным лаком на деревянном ажуре, вышитые алые розы на большом застекленном панно, обязательная кружевная накидка на телевизор и расставленные на ней белые слоники – всё это вошло в память и со временем стало милым и очаровательным.

С бабушкой Таней отношения были непростыми. Она до конца жизни так и не смогла смириться с тем, что ее дочь вышла замуж за еврея, это ее оскорбляло, и весь пыл своей ненависти она направляла на меня – благо я была под рукой. Мама приезжала раз в год, папа не приезжал в бабушкин дом никогда, а я, оставленная под бабушкино опеку на лето, была прекрасной мишенью для оскорблений и нелюбви. Надо сказать, ей удалось взрастить во мне ответную нелюбовь и страх, рождаемый генетической половиной моего полуврейского организма. Те несколько лет, проведенные в бабушкином доме в Ленинграде в первые годы моей учебы в хореографическом училище, нас не примирили, а наоборот – упрочили наш антагонизм и неприятие друг друга.

Бабушка Таня, Татьяна Фёдоровна, была из зажиточного

крестьянского рода, из-под Рязани, приехавшая после раскулачивания в Ленинград, выучившаяся и получившая работу крановщицы на адмиралтейских судостроительных верфях. Нрава она была сурового, ругаться умела залихватски, по-мужски, что явно было влиянием ее тяжелой службы. Когда я поступила в училище, заостренность наших отношений стала еще очевидней: занятия балетом были делом презираемым и профессией не считались, несмотря на то что мама моя и была танцовщицей; она, в глазах бабушки, хоть и занималась делом легкомысленным, но была успешным и главное – “хорошо оплачиваемым специалистом”, и это хоть отчасти, но примиряло бабушку с профессией дочери. Я же была инородцем, будущее мое было туманным, всё во мне было чужим. Мое пребывание в бабушкином доме взрастило ощущение нахлебницы, хоть мама регулярно отсылала бабушке деньги на мое проживание-пропитание. Бабушка Таня всегда зорко следила, сколько ложек сахара я кладу в чай, сколько сметаны – в борщ, сколько съедаю хлеба. Я мучилась и старалась сберечь десять-пятнадцать копеек, чтоб купить буханку хлеба, съесть ее всухомятку по дороге домой и прийти к бабушке не голодной.

Но летом, в Лисьем Носу, противовесом была двоюродная бабушка – Лиза, относившаяся ко мне с нежностью и заботой, благодаря ей эти летние недели не были так безнадежны. Она меня баловала, тайком от своей сестры иногда быстрым движением засовывала мне в ладонь рубль или три, что бы-

ло роскошью – можно было потратить их, ни перед кем не отчитываясь.

На праздники в бабушкином доме обычно собирались или родня, или земляки – рязанские. Накрывался стол с незатейливыми угощениями под водочку, и после третьей-четвертой рюмки начинались песни. Пели только русское, фольклорное, с характерными завываниями и вскрикиваниями, потом пускались в пляс. При любой возможности убежать из-под зорких глаз бабушки Тани я исчезала на волю.

Улица Росси

В училище я поступила по блату. Желание танцевать было у меня всегда, сколько я себя помню, и если у одних детей это связано с желанием двигаться, то у меня – с желанием существовать с музыкой, под музыку, рядом с музыкой. Мой красавец папа был пианистом и педагогом, может быть, поэтому для меня желанным и органичным с детства было слушать музыку, классическую музыку. В нашей маленькой служебной квартирке в Волгограде, куда папа с мамой уехали из Ленинграда после женитьбы, стоял кабинетный рояль, он занимал почти всю единственную комнату. По стенам жались две кровати, одна моя, другая мамы с папой; чтобы выйти на балкон, надо было протискиваться между роялем и подоконником. В коридоре стоял шкаф, в угол между ним и дверью в комнату мама меня ставила после провинностей. Наказывала она меня частенько, и не потому, что я была таким сложным ребенком, вовсе нет, а потому, что мама предпочитала меня воспитывать безапелляционно. Папа занимался по утрам, а во второй половине дня к папе приходили ученики, звуки рояля растекались по дому до вечера. Потом после дневных репетиций приходила мама и забирала меня на вечерний спектакль, в театр музыкальной комедии, где она была солисткой балета. Так, существование в музыкальной ауре длилось почти круглосуточно. Если меня не забирали

папины родители, мои любимые бабушка Анна Евсеевна и дедушка Пётр Иммануилович, которые жили в это время тоже в Волгограде, то я проводила дни в театре у мамы, где блуждала с утра до позднего вечера. И сейчас помню здание на высоком берегу Волги со стройными колоннами на гранитных постаментах, его прохладные, гулкие коридоры, репетиционные залы, плюш кресел и занавеса, запах грима и пыли, вид из окон на волжскую набережную. Я очень гордилась, что у меня ТАКАЯ мама, я видела, что она была самой красивой, самой элегантной, самой эффектной, и главное – талантливой, танцевавшей лучше всех! Какое таинственное наслаждение было тихо, не дыша, смотреть, как мама гримируется, надевает сценический костюм, идет за кулисы, разминается перед выходом на сцену, танцует, кланяется под бурлящие аплодисменты... Я упоенно, распахнув глаза, затаив дыхание, восторгалась всем, что имело к ней, моей маме, отношение: от тубиков губной помады, запаха ее рук, летящей походки, красиво уложенных густых волос, низкого голоса, родинки над губой, изящных туфелек, дребезжащих колец на безымянном пальце до ... Этого “до” не существует, не было предела этому восторгу. Конечно, я хотела во всём быть похожей на нее. Конечно, я хотела танцевать как она.

Было решено, что мне надо поступать в хореографическое училище имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Я не занималась ни в детских балетных студиях, ни в кружках художественной гимнастики. На улицу Зодчего Росси, где раз-

мещалась прославленная школа балета, я явилась в красивом розовом костюмчике, со стрижкой а-ля Мирей Матье, с готовностью сделать всё, чтоб быть принятой, но эта готовность ничем не была подкреплена: я ничего не умела, была чистым листом. За год до поступления мама показывала меня Борису Яковлевичу Брегвадзе, выдающемуся танцовщику Кировского (Мариинского) театра, с семьей которого была дружна и которому поклонялась. Борис Яковлевич посмотрел на меня узкими ласковыми глазами и объяснил, что никакие подготовительные занятия не нужны – потом только сложнее будет переучивать. Мы всецело доверились его мнению. На экзаменах я была хуже всех. Я не умела поднять ногу, выворотню присесть, вытянуть подъем... зато, прыгая, я зависала в воздухе, и мне это доставляло удовольствие; выразительно, светясь счастьем, танцевала полечку. Кроме этого незамысловатого набора “умений”, было отягчающее обстоятельство: я, стесняясь своего длинного для десятилетнего возраста тела, будучи ребенком болезненно застенчивым, пряталась в сутулость, вытягивала вперед шею и смотрела исподлобья. Моя осанка не внушала обнадеживающих впечатлений на приемную комиссию, впрочем, как и всё остальное, что я могла продемонстрировать. Экзамены я не прошла. Мамы со мной в эти решающие мою судьбу летние дни не было, она была на гастролях, и я была поручена маминой подруге еще со школьной скамьи – Кате, Касичке, как я ее называла. Она, будучи художником-реставратором, возглав-

ляла лабораторию в Публичной библиотеке, теперь именуемой Российской национальной. Я шла после своего экзаменационного провала рядом с Касичкой по величественной улице Зодчего Росси и глотала слезы, идти до библиотеки было недалеко, и, когда мы оказались в просторном кабинете лаборатории, сдерживать их уже не было сил. В результате были подняты все связи, и на следующий день я снова была в училище: Борис Яковлевич Брегвадзе показывал меня сначала художественному руководителю училища Фее Ивановне Балабиной, потом директору – Валентину Ивановичу Шелкову, они смотрели на меня с вежливым интересом и, поддавшись пламенным уговорам Бориса Яковлевича, провозгласили – принять!

Михайловы

Первые годы я очень скучала по маме, мне было плохо. Во мне прорастал комплекс одиночества, моя природная застенчивость обретала черты тягостные, прежде всего для меня самой. Я боролась, приспособливалась... Жизнь в Ленинграде была полна событий, они происходили каждый час, их плотность, их насыщенность была невероятной.

Жила я у Касички. Ее отец, будучи комендантом Консерватории, когда-то получил квартиру во дворе этого наполненного музыкой здания. Теперь Касичка жила здесь одна, войти в квартиру можно было, только пройдя через служебный вход Консерватории, потом несколько коридоров и дверей – и ты оказывался в закрытом консерваторском дворике. Квартира эта была замечательна своей атмосферой: звуки, несущиеся из окон, коридоров, классов, переливаясь, складывались в полифоническую симфонию, звучащую с раннего утра до позднего вечера. В гостиной стояло огромное вольтеровское кресло, в котором я помещалась, как в домике, вся целиком, и которое впоследствии переехало в маленькую квартирку на проспекте Ветеранов, в дальнем районе города, которую Касичка получила взамен своей консерваторской. Катя была человеком ярким, красивым, талантливым, прекрасно образованным; обладая отличным слухом и голосом, закончив музыкальную школу при Консервато-

рии, она колоритно пела, заразительно смеялась, закидывая голову, всегда была душой компании, а главное – любила меня. Я любила ее. Катя прошла ребенком все блокадные ленинградские дни, и, вероятно, эта тяжелая часть ее биографии оставила в ее сердце самый незаживающий след и отразилась на всей последующей ее жизни. Редко она коротко и сухо рассказывала мне о том, как ребенком дежурила с отцом на крыше Консерватории в составе войск МПВО – местной противовоздушной обороны. Их задача была во время налета на город находиться на крышах домов и успевать сбрасывать вниз в кучи песка зажигательные авиабомбы, пока те не успевали сработать. Счет шел на секунды. Многие, в случае промедления, погибали прямо на крышах домов от ожогов и осколков. После войны Катя была награждена медалью “За оборону Ленинграда”. Не имея своей семьи и детей, она всю заботу и нежность направила в мой адрес, и огромной частью своих радостей, своих знаний, своих счастливых дней я обязана именно ей. Каждый день я приходила к ней на работу в Публичную библиотеку и проводила часы в отделах редких книг, рукописей и эстампов, “Кабинете Фауста”, Библиотеке Вольтера, художественно-реставрационных лабораториях и, конечно же, в закрытых фондах. Я бродила по залам библиотеки беспрепятственно, меня все служащие знали и пускали туда, куда без специального пропуска вход был закрыт. Тогда я не знала ценности существования здесь, просто мне было тут всё интересно. Многие ка-

залось таинственным, загадочным, манящим древностью и запретностью. Здесь, в закрытых фондах, я впервые увидела альбомы с фотографиями балетов Джорджа Баланчина, Курта Йосса, Пины Бауш, Басби Беркли, Марты Грэм, Мерса Каннингема... Здесь я держала в руках уникальные рукописи и бесценные издания. Я, как бездонный сосуд, наполнялась знаниями, которые поглощала с жадностью.

Рядом со служебным входом в библиотеку располагалась знаменитая кондитерская “Метрополь”, Касичка, прошедшая через голод блокады, с радостью баловала меня свежайшими булочками и пирожными, несмотря на запреты педагогов, борющихся за прозрачность будущих танцовщиц.

Касичку всегда с энтузиазмом приглашали в различные застолья, празднования, вечеринки, она всегда делала атмосферу праздника, сыпала искрометными рассказами и анекдотами, демонстрировала пародии на оперных див, юмористически выплясывала фрагменты из классических балетов. Постепенно потребность в алкоголе стала непреодолимой, и на моих глазах происходило угасание яркого, талантливого человека. Если первые годы моей ленинградской жизни с Касичкой я хохотала вместе со всеми над ее праздничными представлениями, то со временем я стала стесняться ее пьяной веселости, тяготиться и избегать. Тяжелый алкоголизм Кати послужил причиной нашего расставания, наполнил горечью растворившуюся в нем привязанность и любовь. Все попытки помочь, вытащить, уберечь не имели успеха...

Катя училась с мамой в одной школе, в их классе было еще несколько девочек, с которыми мама не расставалась на протяжении всей своей жизни, которые вошли впоследствии и в мою жизнь. Девочки принадлежали к разным сословиям, но были дружны и часто бывали в доме одной из них – Лизы Михайловой, в семье, корни которой уходили в древний дворянский род Сомовых-Михайловых, знаменитый выдающимися деятелями науки и искусства. Я появилась в доме Михайловых лет в восемь, прежде я не видела подобных домов и подобных людей. Сидя за огромным, изысканно сервированным обеденным столом, я напряженно пыталась не ошибиться в том, какой вилкой можно есть то или иное блюдо, как пользоваться фужерами и вереницей ножей, когда и как можно выйти из-за стола, как обращаться к хозяевам дома и к гостям... Скоро этот дом станет мне родным, люди, здесь обитавшие и приходившие в гости, сформируют меня, научат многому, расскажут запретное, отшлифуют и разовьют мои знания, воспитают мой вкус и пристрастия.

Дядя Женя был абсолютным главой семейства; внук Андрея Ивановича Сомова – выдающегося искусствоведа и музейного деятеля, более 22 лет являвшегося хранителем Эрмитажа, племянник художника Константина Сомова, он был утонченно красив, его аристократичные тонкие пальцы привлекали мой взгляд, благородный профиль завораживал, а за короткой фразой в “Википедии”: “С 1918 года неоднократно арестовывался (без предъявления обвинений). В по-

следний раз был арестован после нападения Германии на Советский Союз, чудом остался жив” – простирается трагическая биография этого удивительного человека – Евгения Сергеевича Михайлова, дяди Жени, искусствоведа, оператора, кинорежиссера, фотографа. Жена его – тетя Тося, трогательная, обволакивающая всех своей любовью и заботой, была хранительницей этого дома. Лиза и старшая ее сестра Аля – их дочери. Жили они на улице Писарева в огромной коммунальной мансарде, в двух больших комнатах, которые получили от советской власти взамен на родовые особняки и имения. Стены комнат были заполнены выдающимися произведениями живописи, вся мебель, все детали быта дышали благородной стариной.

Часто дом был полон гостями, я слушала, внимала, вглядывалась, накапливала, запоминала. Постоянным гостем и приятелем дяди Жени был Эдгар Михайлович Арнольди – один из первых отечественных киноведов и историков кино, красиво говоривший о Лиллиан Гиш, Мэри Пикфорд, Алле Назимовой, Уолте Диснее. Арнольди был редактором и сценаристом киностудии “Леннаучфильм”, автором книг и статей о советском и зарубежном кинематографе, написавшим чудесную книгу “Жизнь и сказки Уолта Диснея”. Эдгар Михайлович всегда общался со мной подчеркнуто галантно, давая мне возможность чувствовать себя пусть еще маленькой, но женщиной. Всегда аристократично утонченный, всегда рассыпающий вокруг себя запах терпкого заморского

одеколону, он был интереснейшим рассказчиком, слушала я его восторженно, затаив дыхание.

Помню прозрачные глаза и тихий, струящийся голос Марины Басмановой и непоседливого Андрюшу, ее сына, рыжеволосого в своего великого отца, Иосифа Бродского. Приезжали родственники Сомовых-Михайловых из Москвы, редко из Парижа, куда эмигрировала часть семьи, – все в этом доме были неординарными, с потаенными историями биографий, о некоторых фрагментах которых не принято было говорить.

Первое время я чувствовала себя в доме Михайловых провинциальной дикаркой. Садясь за обеденный стол, я с испугом смотрела на ряды вилок и ножей, выстроившихся рядом со старинными тарелками и фужерами, пугающими блеском и красотой. Необходимость весь обед или ужин держать спину и не позволять себе позы мало-мальски вальяжные; необходимость оставаться за столом, пока хозяйка не даст знак окончания трапезы; необходимость испрашивать разрешения выйти из-за стола в самом крайнем случае; необходимость управляться с приборами, не делая громких звуков и суетливых движений; необходимость быть внимательной к застольному разговору, потому как в любое мгновение кто-либо может обратиться к тебе с вопросом или каким-либо высказыванием... Весь уклад жизни в этом доме дисциплинировал, концентрировал, приучал к собранности и вниманию.

В воскресенья мы ездили за город. Это могли быть и Павловск, и Пушкин, и Ораниенбаум, Петергоф, Стрельна, Гатчина... Бралась сумка со снедью и обязательно книга, которая становилась смыслом поездки. Любой привал использовался для чтения вслух. Читала Аля. Ее монотонная, отстраненная манера произнесения текстов действовала на меня околдовывающе. Особенно неординарно Аля читала поэзию, которую прекрасно знала, которой жила. Именно Аля принесла в мое детское существование Ахматову, не школьного Пушкина, тогда еще запрещенных Цветаеву и Пастернака. В этом доме меня научили понимать живопись, рисунок, акварель, фотографию... В этом доме привили необходимость читать, изучать, наблюдать, вслушиваться. Мы ходили в Большой зал Филармонии на все знаменательные музыкальные события, это было частью познания мира и человека. Когда мне требовалась помощь в учебном процессе, будь то математика или русский, Аля с невероятным терпением занималась со мной, вытягивая из троек и двоек. В одиннадцать лет меня отвели в эрмитажную воскресную школу. Несколько лет каждое воскресенье я приходила в Эрмитаж и вместе с группой ровесников бродила по залам музея, вслушиваясь в рассказы экскурсовода, всматриваясь в великие полотна, в сочетания линий и цвета, расшифровывая смыслы. Самое чудесное – когда музей закрывался для обычных посетителей и мы, дети, оставались в гулких, пустынных залах одни... и тогда фантазия вскипала, пред-

ставлялись сценки из дворцовой жизни, где я была главным участником и главным действующим лицом. Я знала каждый закоулок, каждый коридор этого величайшего музея, и если первое время безлюдность залов вызывала страх, то со временем это стало главным, манящим соблазном.

Белка – так звали близкую приятельницу Михайловых, очаровательную даму, вдову директора Кировского театра, жившую по соседству – на Крюковом канале. Ее уютная, утопающая в полумраке квартира занимала второй этаж небольшого особняка. Окна смотрели на канал, диагонально был виден Кировский-Мариинский театр, другая диагональ выходила на мрачные краснокирпичные стены Новой Голландии. Я любила этот дом, любила душный запах пудры и французских духов, струящийся по комнатам, любила и с восхищением общалась с хозяйкой дома – Белочкой, как принято было ее называть, невзирая на возраст и статус.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.